

ГОД ДЕВЯНОСТО ТРЕТИЙ...

Роман

В последние пятнадцать лет мать-сыра-земля крепко подметает русский народ, решительно поторапливая его на красную горку; погосты как-то скоро разрослись, расползлись на четыре стороны света, подпирая столицу, завоеывая и деревеньки, и поля, где давно ли стеною стояли хлеба, и поросшие чертополохом пустоши, и косогоры, и пастбища, и лесные опушки, и куда хватает взгляд; будто рати на побоище, полегли упокойники под сеево дождя-ситничка, принакрылись щитами намогильников, ощетинились крестами, боронят пиками оградок низкое, плачущее горькими слезами, небо. Словно бы в последние времена начался великий русский исход.

Эта картина, особенно под Москвой, щемит сердце, заставляет его горестно сжиматься, и невольная удрученность гнетет душу, убивает всякое желание к полезной работе, когда глаза не находят для умягчения ни одной радостной картины вокруг...

Но кажется, что и каменные городские тесницы не трухнут, не проседают в болота, не отступают перед погостами, а, подпирая плечами небосвод, медленной жуткой ступью ополчаются на кладбища, окружают их плотной осадой, готовые стереть, заборонить, чтобы отобрать землю у мертвых и сдать ее в процент, в рост для скорой прибыли. И оттого думается, что мрет народишку русского столько же, сколько и прежде; просто он второпях сбежался, сгрудился в одном месте, не желая сиротеть под грустными деревенскими ветлами и березами, уповая, что по смерти под крестами-то авось не раздерутся, не разбрехаются, как при жизни, а в грудь под столицей куда как весело лежать во временах бесконечных, дожидаясь воскрешения.

Войско на войско идет, дух на дух, и неведомо, кто кого оборет. Где Мамай, где русская дружина — не распознать. Кого боронят, а кто осаждают — не разглядеть во мгле. Куда девался всемилостивейший Спас, на чью сторону скинулась мать-Богородица со святым покровом — нет искреннего гласа и совета. Все на Руси смутилось, смешалось, завилось в косицы, как в речном омуте под глинистым кряжем, и, погружаясь на дно, обретает свинцовый цвет тоски и грусти...

Вот спешили, торопились, текли людские потоки из родимых деревенек, печищ, выселок, хуторов, сел и погостов за сытой и хорошей жизнью, чтобы, задохнувшись от бессмысленного бега к Москве, едва достигнув ее и вряд ли по-настоящему вкусив чего-то доброго, лечь под грешной столицей в глинистые ямки, залитые водой.

Моего знакомого опускали в такую вот могилку, тогда дождь шел. И мать, прощаясь, потрогала ноги, а покрывальце как-то не додумалась приоткрыть, чтобы глянуть на обувку; и похоронили, как оказалось, в итальянских погребальных башмаках из накрашенного картона. «Видкие камашки-то, фасонистые, есть на что глянуть, а не подумали, что из бумаги». А ночью женщине сон — сын слезами плачет: «Мама, мне так сыро, так холодно, ноги зябнут. Пошли хоть калоши». И так всю неделю. Хорошо, в соседях скоро покойник случился, пошла, в гроб к новопреставленному положила галоши. «Передай, — сказала, — моему». С той поры сын и перестал сниться...

Странный этот новый Вавилон и похож на соковыжималку. Столько доброго народа перекачало сюда с земли, из своей родимой изобки, от пажитей, от милых сердцу мест — в бараки, казармы, коммуналки, «хрущобы», чтобы все совестное, божеское со временем перемололось, как бы ушло в пыль и тлен, но остались царевать торговцы и спекулянты, процентщики-ростовщики и бандиты, выжиги-столоничальники и проходимцы, стукачи, менялы, «менты» и проститутки, карманники и охранники. И всяк, кто при деньгах, закрылся за стальные двери, как в ячейку бронированного сейфа, да окружился злыми овчарками, оруженосцами и «крутыми ребятами». Какая-то неизвестная прежде дьявольская бацилла, похуже чумы и птичьего гриппа, проснулась в христовеньком, и все добросердечное, божеское выела из души, но оставила слизь и слякоть, в которой так тепло и сытно прозябать до скончания дней, очервляться и окукливаться, мастерить себе подобных, каменнотупых. Прямо какое-то наваждение и безумие: столица, утратив простонародные обычаи и сельское очарование, стыд, невинность и совесть, прямо на глазах оделась в каменную проказу, стала походить на раздувшегося ненасытного спрута, явленного из сказки Змея Горыныча, пожирающего все лучшее, все светлое укладывающего на жертвенный алтарь своей ненасытной похоти.

Раньше московские погосты были у каждой приходской церкви, накрытые тополями, липами и ветлами, с грациными гнездами, с зелеными или солнечными шатерками и луковками, проглядывающими сквозь розвесь ветвей, с колоколенками, малиново подгуживающими в лад переливчатым небесам, перебивающими птичий гай;

а постный дух восковых свечей, ладана и елея мешался с запахами куличей и кренделей, кваса и сбитня из распахнутых окон слободки, где каждая изба жила, вроде бы, и по столичным законам, но по древнему ладу и родовым крестьянским привычкам, усвоенным еще со времен царя Гороха. И никто эти нравы не старался перебить, переиначить на свой высокомерный вкус. Каждый знал соседа, роднился с ним, печаловался и радовался, ревниво блюл устав и обычай, чтобы мирское бывание не пошло наперекосяк и впоперечку. Это уже с царя Петра, по его гордыне, вся русская жизнь покатила под откос, да и сверзлась совсем русская колымага в глубокую трясику, и застряла на долгие века; как ни тужились над нею стойные православные, чтобы выставить телегу на прежнюю колею, уверяя белый свет, что «всякая земля по своему уставу живет», да только сорвали жилы, надорвались, нажили грыжу без видимых результатов, уныло клюя носом в землю при виде раздобревшего иноземного купчины и менялы-кочевника... И никто из верных русаков совета, вроде бы, не услышал, словно ушеса завешаны были непробиваемыми покровцами.

И не случайно ведь, что кладбище, куда сносили близких, самое дорогое, что дано Богом, находилось не вдали от дома, порою и рядом, потому что усопшие родичи и по смерти оставались охранителями жилья, своего рода-племени. В древности русы хоронили своих возле крыльца избы, или в саду, или на меже своей земли, репища и капустища, ибо более крепкой защиты от недруга или внезапного разорения было не сыскать. Оказывается, эти косточки бело-яровые, хранящиеся в земле, как самый драгоценный клад, были защитой родового гнезда. А когда погосты утекли от родимого дома, от своей межи подальше, с глаз прочь, упокойники как бы утратили силу оберега.

И коли множество люда нынче съехали на красную горку прежде времени, по чужому наущению, отошли с тяжелой ненавистной душой, с тоской и грустью, то эти враждебные чувства не могут так просто раствориться в сырах и глинах, а неисповедимым образом должны постоянно отзываться на новом Вавилоне. Дух вражды от необозримых кладбищ невольно струит сизым гибельным маревом на разросшиеся города, лишая их охранительной поддержки и немеркнувшей любви. Ведь неслучайно же в поминальные дни люди спешат на погосты, чтобы не просто обиходить могилки, послать на тот свет даров и гостинцев, успокоить своих родичей, обитающих ныне в иных палестинах, но и заручиться поддержкой в своих земных затеях, в убеждении, что из этого последнего поклона умершим произрастает не только душевная теплота, но и выковывается неразрывная цепь родства, делающая нас русским племенем.

Не может быть, чтобы вся жизнь нынче была исполнена покорства — как-то приходит на ум, когда оглядываешься окрест. Невольно складывается картина, что вымирание русского племени было как бы замыслено загодя дурными затейщиками, а мы лишь не могли угадать его вовремя, чтобы подготовиться, и потому были захвачены врасплох, и оттого так больно рвет душу этот нескончаемый людской поток на тот свет; не было к печальным временам уведомления, не были мы подготовлены сердечно, живя в покое, все ждали какой-то новой радости, а получили дубиной по темечку и, живя в «оглоушенном» состоянии, с померклым сознанием, до сей поры не верим в случившееся, принимаем за дикий сон, и потому никак не можем вооружить душу должным смирением, как того требуют заветы православия...

Эко, скажут, чего запел... Увы, смирение часто путают с покорством. Покорный человек уперся взглядом в землю, как вол в ярме, а смиренный ищет истин в небе и находит там ответы, как вывернуться из хомута. В тупое покорство невольно затягивает человека, когда все происходящее принимается как рок непобедимый; а если так, то зачем ереститься, ширить локти, а не лучше ли, покорясь власти, приняв ее за должное, насланное от Бога, податься в услужение бесу, занять свою соту в «человеянике» и не высовывать носа, чтобы не прищемили... Лишь из душевного смирения, когда исподволь изникает гордыня и вспыльчивый гнев, когда растворяются очи сердечные и все видится вокруг широко и понимается глубоко, в самый корень, когда выкипает на душе вся скверна и похоть, выливаясь прочь дурной пеною, — и вызревает в человеке необоримое желание воли. Внешне смиренный человек — простак и увалень, а внутри — делатель и промыслитель. Вот ему и Бог всегда в помощь... Смирением Бог дает благодати, любви и долготерпения. Смиранные люди подспудно чувствуют, как долго можно терпеть и для чего надо терпеть; в нужную минуту Бог насылает им дерзости в подвиге, на удивление храбрым и заносчивым; смиренные русаки всегда стояли в ратях до смерти, устраивали Русь во всей ее силе, поклонялись Сибири до самого края; гневливые же гордоусы по своей похвальбе и заносчивости роняли голову, как репку, в первой же стычке с «дикими» племенами.

Но увы... «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Нет общей боли, у каждого боль своя, и только свою боль мы слышим и ощущаем во всей тягости. Пока каждый из нас плачет по прежней жизни, находя в ней лишь одни прелести и красоты, этот плач обезоруживает нас, спихивает в трясины покорства, и мы похожи на сиротливый гурт, потерявший пастуха. Пока лишь какой-то внутренний, раздрыганный, задавленный внутри стон «от собственной боли», напоминающий скотиний «мык», слышен на русских палестинах, народ не может возопить, как требует того оскорбленное сердце, и слиться в единый торжествующий глас победы, который бы и мертвого поднял из ямки, и самого бы жестокосердного образумил, чтобы тому стало страшно за содеянное. От этого непротивления, вялого безучастия ко всему, безмолвия и тоски, разлившейся по России, и кажется нам порою, что гибельный унылый покой царюет на Руси, какой случается лишь на погостах, а ростовщики, одним

видом своим пугая, как ненасытные вороны, расселись по оградкам кладбищ, услаждаясь духом смерти, дожидаясь своей кровавой добычи.

Но пусть не торжествуют «луканьки» и «нетопыри», обманом схитившие власть, что все уже прочно улажено во веки веков, застолблено и будет незаблемо и вечно, ибо сила русского духа еще не выказана в полной мере, не предъявлено по счетам, а это значит, что чаша на весах правосудия однажды склонится в сторону закона Правды, когда каждому воздастся по заслугам. Ибо то, что случилось на Руси в девяносто первом, бывало не однажды в истории, и каждый раз похититель власти, временщик выстраивал свои оборонительные редуты на грядущее тысячелетие, не менее, но мы-то уже знаем, что из этого получалось...

Да, вновь допустили врага в Русский Дом, потому что никто не захотел воевать. Такой внутренний раздрызг был устроен перехватчиками власти, такая вдруг безволица и нехватка во всем навалилась на страну, что обессилел народ как-то враз, потерялся, словно опоенный или отравленный, заповодил очами во все стороны света, ожидая совета и призыва к походу, а не услышав его, не нашедши вождя, не решился прищучить за шкирку, призвать к ответу малую горстку законопешников (как то случилось и в семнадцатом). Да тут же подкатили к народу под бочок лукавые советчики «авось да небось»: дескать, а впереди и каравай сытнее, и брага хмельнее, и солнце ярче — захотелось снова новизны, каких-то ярких впечатлений, перемен. Подобная сердечная смута не раз подводила русаков на долгом пути. И этим национальным чувствам «новопередельцы» всячески потрафляли, науськивали на минувшее, сообщали били на черепки русскую чашу, чтобы растеся народ по городам и весям, как вода из кувшина, как песок из бархана: дескать, что унес пыли на подошве — то и есть твоя родина. Собирались наивные «простодыры» дружно овсяных кисельков похлебать, да закусить медком липовым, да запить пьяным молочком из-под «бешеной коровки», а сунули им под нос тюрю из хлебных корок да пустоварных щей...

Эх, милые мои русские люди, куда глаза-то ваши глядели, каким варом их заливали, что бесовский сюртук из рыбьей кожи приняли за архиерейскую ризу! Ведь знали же, выслушивая сладкие посулы, что пригласи нечестивца за стол, так он и ноги на стол. Только впусти льстивую лисицу за порог, чтобы обогреться в сенах, так она скоро не только хозяйскую кровать займет, но и самого простеца-человека погонит взащей из избы.

Но не стоит лукавцам, что отоварились бесплатно за казенный кошт, забывать девяносто третий год, когда русский народ, пусть и на короткий срок, но взъярился на Москве, поднялся на дыбки, и какой грай подняли тогда зловещие враны, собравшиеся уже преспокойно терзать добычу... Надо помнить, что Москва-то и гарывала не однажды, чтобы изжить супостата, за свободу она никогда не стояла за ценою, она возжигала кумирни идолам, но так же легко и роняла истуканов, чтобы уже наутро навсегда забыть их. Чтобы изменить характер престольной, нынче ее окитаивают, онемечивают, лишают воздуха родины, древнего русского норова, обычая и обличия, торопливо заселяют гулящими ордами кочевников, насильно смешивая многие языки.

Москва из третьего Рима скоро превращается в новый Вавилон, в капище зла и разврата, раскрашивая физиономию под «мадам Сю-сю». Печальная судьба великого Вавилона нам известна, но, увы, не поучительна...

В девяносто третьем подтвердилось уведомление святых старцев: «Кто не любит Бога, тот не любит Россию». Мне скажут: «А церквей-то дозволили настроить, православному человеку дали свободно вздохнуть». Да, с умыслом и торгашеским расчетом пустили к новинам и старинам, да, припустили к русскому духу, как ту козу, у которой «видит око, да зуб неймет», де, вот он, ивовый кустик, как бы хорошо спустить зубешками пластину сочной коры, да только вязка не пускает, за шею давит. С одной лишь тайной целью приослабили интернациональный тугой хомут, чтобы легче было замутить народное сознание, сбить его с панталыку, вооружить человека кичливым презрением к недавнему прошлому, вновь проредить крону национального древа, полагая многие ветви минувших времен вовсе лишними для родовой исторической памяти.

В мутной воде разногласицы и баламутства, когда бес пущен из темнички на волю, много можно рыбки наудить ростовщику... Вот и церковь пошла с ростовщиком на сделку, позарившись на легкий гостинчик, и пришла нынче пора платить по процентам. Как ни закрывай глаза на минувшее десятилетие, но торг-то с «кобыльниками» случился, и было рукобיתье, и магарыч пропили, а вместе с ним и страну советов, каждый уповая в тайности обмануть, провести друг друга, обвести вокруг пальца. И каждый мнит себя в выигрыше: одни — Союз «слопали с потрохами», другие — церковь многоглавую с позолотою выставили, и растерянный народ пустился в распахнутые храмы. Минуло лет десять, и, уже не таясь, «кобыльники» выставили православной церкви свой счет, в ней обнаружили они главного противника своему злоумышлению, ее (церкву) и надобно нынче загнать обратно в камору под крепкий ключ, погасить свечу восковую, «луч света в темном царстве», что не дает потерять в русском человеке человеческое. И тогда не станет верного поводыря, а без него «слепой еще слепых сведет в яму».

Конечно, крестьянская Россия надломилась не в девяносто третьем году, надсадилась она, получила грыжу, изработалась и истратилась за двадцатое столетие, когда черпали из него золотого народу пригоршнями и ковшиками, а возвращали в народную кошулю тусклой медной монетою. Исстари народ сидел в рабстве на земле, пытаясь сойти в города на оброк и тем обмануть судьбу; в тридцатые снова, отобрав волю, ввергли мужика уже «за печати», не давая выехать из деревни, и, вроде бы, «чернозему» благоволили, «берегли за крепостью», чтобы плодились, не давали совсем истончить родящий слой, сострогать ножом-клепиком, как сало с звериной шкуры. Но меж тем власти, обставив деревню рогатками, исподволь, каким-то тайным манером изловчились снимать с